

СТАРЫЙ ГРИБ

I

Была у нас революция тысяча девятьсот пятого года. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом.

— Скажи, брат,— спросят его,— где...

Назовут улицу, и «брат» ответит, где эта улица.

Пришла первая мировая война тысяча девятьсот четырнадцатого года, и, слышу, ему говорят:

— Отец, скажи...

Стали не братом звать, а отцом.

Пришла последняя большая революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые, серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на бело-серебряные волосы и говорили:

— Ты что же, отец, стал мукой торговать?

— Нет,— отвечал он,— серебром. Но дело не в этом.

Его настоящее дело было — служить обществу, и еще он был врач и лечил людей, и еще он был очень добрый человек и всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра и до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при Советской власти.

Слышу, однажды на улице кто-то его останавливает:

— Дедушка, а дедушка, скажи...

И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой.

Так вот время проходит, просто летит время, оглянуться не успеешь...

Ну хорошо, я продолжаю о друге. Белеет и белеет наш дедушка, и так наступает, наконец, день великого праздника нашей победы над немцами. И дедушка, получив почетный пригласительный билет на Красную площадь, идет под зонтиком и дождя не боится. Так проходим мы к площади Свердлова и видим там за цепью милиционеров вокруг всей площади войска — молодец к молодцу. Сырость вокруг от дождя, а глянешь на них, как они стоят, и делается, будто погода стоит очень хорошая.

Стали мы предъявлять свои пропуска, и тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то, озорник, наверно,

задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть. Увидел этот озорник моего старого друга под зонтиком и говорит ему:

— А ты зачем идешь, старый гриб?

Обидно мне стало, признаюсь, очень я тут рассердился и цап этого мальчишку за шиворот. Он же вырвался, прыгнул, как заяц, на прыжке оглянулся и удрал.

II

Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти и мальчишку и «старый гриб». Но когда я пришел домой и прилег отдохнуть, «старый гриб» мне опять вспомнился. И я так сказал невидимому озорнику:

— Чем же молодой-то гриб лучше старого? Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других, новых грибов.

И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю. Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пяточки.

День был теплый и даже паркий, когда грибы лезут из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все дочиста выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же, с того самого места, опять собирает, ты берешь, а грибы всё лезут и лезут.

Вот такой и был теперь грибной, паркий день. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь: сыроежки, красноловики, подберезники,— а белых грибов нашлось только два. Будь бы боровики, настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом! Но что делать, по нужде поклонишься и сыроежке.

Очень парко было, и от поклонов моих загорелось

у меня все внутри и до смерти пить захотелось. Но не идти же в такой день домой с одними черными грибами! Времени было впереди довольно поискать белых.

Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежинки или просто даже потные места. До того мне пить хотелось, что, пожалуй бы, даже и мокрой землицы попробовал. Но ручей был очень далеко, а дождевая туча еще дальше: до ручья ноги не доведут, до тучи не хватит рук.

И слышу я, где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит:

«Пить, пить!»

Это, бывает, перед дождиком серенькая птичка — дождевик — пить просит:

«Пить, пить!»

— Дурочка,— сказал я,— так вот тебя тучка-то и послушается!

Поглядел на небо, и где тут дожждаться дождя: чистое небо над нами и от земли пар, как в бане.

Что тут делать, как быть?

А птичка тоже по-своему все пищит:

«Пить, пить!»

Усмехнулся я тут сам себе, что вот какой я старый человек, столько жил, столько видел всего на свете, столько узнал, а тут просто птичка, и у нас с ней одно желание.

— Дай-ка,— сказал я себе,— погляжу на товарища.

Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике, приподнял одну веточку: ну, вот и здравствуйте!

Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу, посередине ее две березы, под березами — пень и рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка, такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не

видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх.

И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой.

Повеселело у меня на душе.

Вдруг вижу: слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком — тюк! — в воду. И головку вверх, чтобы капля в горло прошла.



«Пить, пить!» — пищит ей другая птичка с березы.

Листик там был на воде в тарелке — маленький, сухой, желтый. Вот птичка клюнет, вода дрогнет, и листик загуляет.

А я-то из оконца вижу все и радуюсь и не спешу: много ли птичке надо, пусть себе напьется, нам хватит!

Одна напилась, полетела на березу. Другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей:

«Пить, пить!»

Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую.

Но пищать они стали не спокойно, как раньше: а с тревогой, и я их так понимал, что одна спрашивала:

«Выпьет?»

Другая отвечала:

«Не выпьет!»

Я так понимал, что они обо мне говорили и о тарелке с лесной водой: одна загадывала — «выпьет», другая спорила — «не выпьет».

— Выпью, выпью! — сказал я им вслух.

Они еще чаще запищали свое: «Выпьет-выпьет».

Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды.

Конечно, можно бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба шмякнул бы тут же о дерево.

Удаль какая!

А по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички, и мало ли кто пил без меня, и вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь, а после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. А там дальше созреют в грибе семена — споры, ветер подхватит их, рассеет по лесу для будущего...

Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке.

А птички-то! Птички играют свое:

«Выпьет — не выпьет?»

— Нет уж, товарищи, — сказал я им, — теперь больше не спорьте: теперь я добрался и выпью.

Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть, вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в гибкое блюдце пау-

чок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо
напиться.

— Сколько же вас тут, желающих! — сказал я ему. —
Ну тебя...

И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.

III

Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил
о старом грибе и вам рассказал. Но рассказ о старом
грибе — это только начало моего большого рассказа о
лесе. Дальше будет о том, что случилось со мною, когда
я напился живой воды.

Это будут чудеса не как в сказке о живой воде и
мертвой, а настоящие, как они совершаются везде и
всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто
мы, имея глаза, их не видим, имея уши — не слышим.